

Душным майским утром среднерослый мужик, обладатель могучего тулова грузчика, обтянутого густо-синей зимней рабочей курткой с выведенной на спине надписью «Газпром», несоразмерно коротких кривоватых ног, обряженных в вытертые добела джинсы и обутых в зимние же чёрные сапоги «Аляска», то мечется по гравийной площадке возле двери кафе «Антоника», то вдруг принимается выписывать на ней малые эллиптические орбиты. Едва завидев подкатывающую Коломбину, мужик заканчивает свой несколько нервический утренний променад, сдёргивает с головы (оказавшейся лысой, шишковатой, с глубокою вмятиною надо лбом) летнюю сетчатую бейсболку и, размахивая ею, сияя лазоревыми глазами, выделявая ногами мудрёные антраша, широко осклабяясь и жутковато являя при этом единственный длинный кривой и жёлтый зуб, поспешает в мою сторону. Шлёпнувшись на сиденье, ребячески поёрзав, мужик располагаетя как можно вольготнее, затем протягивает крупную мягкую ладонь, отрекомендовывается Саньком, спрашивает моё имя, восклицает: «О! Эндрю!» — и бодро частит:

— Значит, так, Эндрю. Слушай во все уши. Сейчас мы с тобой едем в банк за деньгами, потом сначала в один магазин за продуктами, потом в другой, где всякие разные тряпки продают, ага; там я футболку куплю, стельки и носки. Потом... а куда потом? *(Вздёргивает брови, отчего чистый выпуклый лоб изборозждается морщинами, раздумчиво постукивает кулаком по колену.)* Да, потом в гостиницу! Там я оставлю продукты, а потом мы едем обратно, я тебя кофе с шоколадкой угощу. Всё, Эндрю, погнались! — Санёк набирает в грудь воздуху, порывисто взмахивает руками и голосит неожиданно музыкально: «А волосы твои до плеч! Глаза большие в пол-лица!» Шизгалес! Короче, шизгалес! У-у-яй!! *(Теноровый вопль удивительно смахивает на взвизг цепи бензопилы, натолкнувшейся в бревно на кованую скобу.)* Погоди, Эндрю! — обеспокоивается Санёк. — Куда мы едем?

— В банк.

— Точно! Ведь у меня в бумажке всё как есть записано, куда ехать и чо купить. Я, пока в вахтовке в Жигалово ехал, её наизусть выучил, а тут чо-то забыл... Эндрю, музыка есть? Включи. О, «Битлы»! *(Санёк восторженно подпрыгивает на сиденье.)* Сто лет их не слушал! Йестудэй, тра-та-та-та-та-та йестудэй! У-у-яй!!

В левом ухе начинается свербёж, словно бы туда влетел майский жук... Вот же Орфей новоявленный, лирою бы тебя по голове...

— Санёк, кричи потише! Извини, но я, как и Остап Бендер, не терплю самодеятельности.

— Да ты чо, Эндрю?! Я на Ковыкте целый месяц один в балке сам с собой толковал! Чуть не одикарел! Да я сейчас наговориться не могу! У-у-яй!!

Оглядываю своего голосистого пассажира. Занимательный субъект: лицо неизношенное, морщины едва обозначены, кожа будто разглажена превосходным кремом (таковая физиономия часто принадлежит бездеятельному чиновнику), его с некоторою натяжкой можно посчитать свежим, если, конечно, не замечать злосчастный однозубовый оскал и лысину, уверенно добавляющие пару десятков лет. Надо узнать его доподлинный возраст, заодно озадачить любым вопросом: пускай говорит, но не кричит.

Шутливо интересуюсь, не молотобойцем ли трудится Санёк на Ковыкте.

— Ну, ты, Эндрю, загнул! — поражается Санёк. — Сторож я! Ты чо, не знал? всю жизнь сторожу, ага. А начинал подметальщиком, когда мне четырнадцать стукнуло. В токарном цехе стружку мёл. — И поясняет: — Жрать-то чо-то надо было.

— Почему на токаря не выучился?

Спрашиваю безлюбопытно, однако Санёк не отделяется ответом односложным.

— Я не то чтобы, но — да, как будто хотел, а мне сказали: у тебя, парень, голова не совсем в порядке. Не знаю, из-за чего так. Да мне-то чо. У-у-яй!!

— А годков тебе сколько?

— Так пенсионер я, Эндрю, уже второй год как пенсионер! У-у-яй!! — упоённо кричит Санёк, подсказывая и вертясь на сиденье за всю младшую детсадовскую группу, покуда я произвожу несложные подсчёты: $2016 - 61 = 1955$. Значит, родился он в 1955 году, в 1969 году, подростком, начал работать, причём от нужды. Это удивительно: в СССР неприкрыто неимущих или же обездоленных — как сейчас — не было, мне, во всяком случае, таковых наблюдать не доводилось. Быть может, он из детдома? Но тогда его отправили бы учиться в ПТУ, а не убирать стружку в токарном цехе. Да и на детдомовского он не походит ни распахнутым взглядом, ни повадками.

Тем временем Санёк, не подозревая, как прочно его особа завладела моими мыслями, разливается утреннею птицею: „Так вот какая ты! А я дарил цветы!“ Так, как же там дальше-то... Ага, вот: „А я с ума сходил от этой красоты!“ У-у-яй!!» — и энергично размахивает сжатыми кулаками, отчего в салоне поднимается ошущимый сквозняковый ветерок. Пусть, недолго ему шалить — вот и банк.

— Приехали! У-у-яй!! — Санёк выпрыгивает из машины на испещрённую мелкими лужицами площадку перед банком и принимается выжидательно постукивать сапогом об сапог, переминаясь по хлюпающему гравию. Спрашиваю, не жарко ли ему в зимних сапогах. — Это здесь лето всюю, а у нас на Ковыкте — снег по колено, — рассеянно отвечает Санёк и, ещё притопнув раза два ногою, весь словно бы замирает, выкатывает на меня изумлённую лазурь очей: — Эндрю, ты чо рассиживаешься-то? Пошли давай в банк! Поможешь — я без понятия, как из газпромовской карточки зарплату вытащить.

Делать нечего, иду за пассажиром, бормочущим: «Так, я ещё чо-то хотел... ведь вроде бы недавно чётко помнил, чо ещё-то...», боясь предположить, что ещё он не умеет делать, утешая себя надеждою, что — немного.

Санёк внезапно останавливается, крепко и звучно ударяет себя по лбу раскрытою ладонью, вскрикивает: «Вспомнил! Надо пенсию получить!» Оборачивается ко мне, смеётся:

— Всё ништяк, мы с тобой это дело махом провернём! У-у-яй!! — Галантно распаивает предо мною дверь: — Прошу, Эндрю!

Вхожу не чинясь. Санёк бежит к банкомату, на ходу доставая из недр куртки объёмистый бумажник. Вытянув из него банковскую газпромовскую карту, протягивает мне. Спрашиваю ПИН-код, и Санёк, с интересом поглядев сквозь меня на неразличимое далёкое, спохватывается:

— А, это цифирьки-то? Где-то у меня записаны, ага... — Извлекает из бумажника паспорт, из паспорта — квадратик бумаги с четырьмя рядами чисел. — Выбирай любые.

У-у-яй!!

Женщина у соседнего банкомата подозрительно оглядывает нас. Нахмуриваясь, говорю как можно строже, что здесь не тайга — банк, учреждение даже не по деревенским меркам значительное, и если в его стенах ещё раз прозвучит вопль восторженного осла, то непреоборимая Коломбина без лишних разговоров увезёт меня отсюда; но Санёк на мою инвективу обратил внимание как на прозвевшего мимо его уха комара.

— Эндрю, ну ты чо такой-то?! — причитает он громким шёпотом, недоумевающе и вместе с тем комически расставив руки в стороны. — У меня радость прёт из организма, а ты ругаешься!

— Не обижайся, лучше ПИН-код назови.

Санёк взглядывает на меня как на полоумного.

— Ты, Эндрю, странный какой-то! Откуда ж я его помню? У меня это... цифры в голове не застревают. Я тебе русским языком сказал: выбирай любые.

— Как скажешь, — отвечаю, набирая верхние цифры из списка. Угадываю. На балансе имеется семнадцать с половиною тысяч. — Сколько снимать?

— Всё! — командует Санёк. Небрежно затолкнув полученные банкноты в бумажник, подаёт сбербанковскую пенсионную карту. — Отсюда тоже всё снимай.

Припомнив мудрость: «Что вверху, то и внизу», набираю нижние цифры из списка, и снова угадываю. «Ну, ты прям как этот... — ликующе сопит мне в ухо

Санёк, — который сквозь карты масть видит... ну, этот... шулер — вот!» Решив почесать сие высказывание похвалою, снимаю и передаю Саньку ещё восемь тысяч. Вскричав «Ништяк, Эндрю! Погнали!», он устремляется к двери, на бегу вталкивая деньги в бумажник.

Спрашиваю, в какой магазин поехать, в «Байкал» или «Комету», но Санёк выбирает кафе «Гурман», объяснив, что хочет попить пивка, а меня угостить кружечкой кофе.

— Спасибо, Санёк. Кофе три в одном пусть господин Бжезинский пьёт.

— Ты чо, Эндрю?! Какое ещё там три в одном?! Настоящий заварят, из банки! Невозможно усмирить усмешку...

— Ты чо, не веришь?!

— Святая ты простота, Санёк, — отвечаю кротким голосом. — Завидую.

Мои слова производят на пассажира действие особенное: он бормочет что-то вроде «всякое мне говорили, ага...», потирает лоб, пошмыгивает картофелиною носа; вообще глядится озадаченным не шутя. Поворотившись, ослепляет бесхитростною лазурью глаз:

— А ведь мне ещё никто ни разу не позавидовал...

Осмотрительнее надо быть с тобою, Санёк, ох, как осмотрительнее... Что тебе ответить? Может, так: мол, ты не довольствуешься малым, — ты умеешь довольствоваться ничем? Нет, пожалуй, вот так — ни то ни сё, посерединке — и скажу: мол, повода не было.

Выслушав, Санёк недоумевает:

— А сейчас-то повод какой?

Улыбаюсь насильственно.

— Никакого нет, пошутил я, понимаешь? Ты лучше глянь вон на ту краю! — указываю на голенастую девчущку, очень кстати вышагивающую навстречу нам по противоположной стороне дороги. Санёк так и подскакивает: «Чо? Где?»

— Круп обещает быть крестьянским, крепеньким, ножки уже сейчас по голливудскому циркулю, — нагло комплиментирую воображённые девчоночьи прелести, — у груди ещё всё впереди, а иноходь уже свободная, под чистопородную, ты всмотришься, — она же летит, парит, плывёт! Годика через четыре эта пигалица всех парней с ума сведёт!

Санёк высовывается в открытое окошко, взмахивает сорванною с головы бейсболкою, орёт-поёт: «Я люблю тебя до слёз!» Девчущка снисходит покоситься на него, сейчас же меняется в лице и сбивается на перепуганный галоп. «У-у-яяй!!» — подбадривает её Санёк и, откинувшись на сиденье, отряхивает ладони с видом человека, исполнившего свой гражданский долг.

Нескучно с тобою, это уже хорошо.

Подъезжаю к «Гурману», предлагаю пассажиру выходить, понадоблюсь — позвонить.

— Нету у меня телефона, на чёрта он сдался! — удивляется Санёк. — Всё равно потеряю. Пойдём, Эндрю, ты кофе выпьешь, я пивка засажу. А потом в магазин поедем.

Отказываюсь от приглашения — надо работать. Однако Санёк не отступает.

— Пойдём, ну пойдём, ну чо ты в самом-то деле... — раз за разом настойчиво повторяет он и, поняв, что уговорить не удастся, хватывает меня за руку, тянет из машины, жалобно вскрикивает: — Эндрю, не обижай!..

Таких пассажиров у меня ещё не было!

— Десять минут, не больше, — предупреждаю, и Санёк сейчас же бросается к двери, распахивает её, приглашает войти (швейцарская привычка, что ли?), шустро взбегаёт на второй этаж. «У-у-яй!! — раздаётся наверху. — Девоньки, красавицы, лапоньки, я вас всех люблю!» Тотчас поднимается радостный переполох: слышатся приветственные клики, воздушные поцелуи и прочие томные звуки, всегда раздражающиеся при появлении запропавшего обожаемого завсегда. Решив про себя, что десятью минутами точно не отделаться, отключаю телефон, поднимаюсь по гулкой железной лестнице. Возле барной стойки Санёк, приплясывая и размахивая руками, галантерейно обхаживает статную волоокую барменшу и выглядывающую из кухни румяную девицу, не то официантку, не то повариху, с незатейливой грубоватостью всячески преувеличивая их женскую привлекательность.

— Эндрю, иди сюда! Солнышко, карамелечка ты моя медовая, рассыпчатая, найди-ка себе самую большую шоколадку, — велит барменше. — А моему другану, печеношечка ты моя сдобная, забодяжь чёрный кофе, двойной, — командует покагывающейся со смеху девице. — И обязательно чтобы из банки, — налегает голосом, — и с пенкой: люблю, когда пенка сверху плавает, ага, ну, и сахару туда побольше сыпани. Так, чо ещё-то... ну, и мне тоже чёрный кофе, только смотри чтобы без сахару. Это — тебе, раскрасавица ты моя мякотькая! — напевает барменше, вопросительно наставившей палец в плитку шоколада «Алёнка». — Эндрю тоже дай шоколадку.

— Обойдусь. Не забудь, у нас мало времени.

— Ты чо, Эндрю?! Не торопись, везде успеем! Не хочешь шоколадку, давай тортик тебе какой-нибудь возьму!

— Слушай, Санёк, отвяжись от меня со своим тортиком! — заявляю презлым голосом, и в это мгновение барменша выкладывает на стойку батончик «Марса», уверяя, что «его, чтоб вы знали, многие мужики покупают». Санёк требует прибавить ещё один батончик, а себе подать шесть бутылок пива «Старый мельник», непременно холодного.

Встревоживаюсь:

— Не много ли тебе будет? До машины не дойдёшь.

Кухонная девица хохочет. Барменша округляет на меня глаза:

— Вы чо такое говорите-то? Прошлый раз он два ящика выдул — и ни в одном глазу.

Не нахожу ничего лучше, как молча пожать плечами и пройти к столу подле окна, — усесться с расчётом видеть покинутую Коломбину. Вскоре ко мне присоединяется Санёк. Пальцами легко сдёргивает пробку с бутылки, быстро, но без алкогольной жадности, будто воду в палящий полдень, выпивает подряд две кружки пива, тихо выдыхает, утирает губы.

Кухонная девица, оказавшаяся официанткой, приносит кофе, два батончика «Марса».

Отведываю кофе. Оно оказалось сорта «не хочешь — не пей».

— Понужай шоколадки, — угощает Санёк. — А может, тебе мороженое взять?

Мною завладевает желание уйти, но понимаю, кажется, наступает редкостный случай, когда человек неродственный неожиданно вторгается в моё жизненное пространство — и прочно в нём остаётся.

— Тебе медбратом работать, а не сторожем.

Будто не замечая моего раздражительного состояния, Санёк со словами «это — кому-нибудь» отставляет недопитую бутылку пива, выпивает ещё три кружки и, откупоривая последнюю бутылку, говорит:

— Вот ты мне позавидовал, а ведь я в детдоме рос, ага. Хорошо там было, на Сахалине: в море купались, крабов ловили, медуз; они, медузы эти, на берегу склизкие, как комок соплей, а когда в воде — радугой так и играют, красиво... Забреду, помню, в воду, долго смотрю, как рыбки, осьминоги, морские звёзды всякие разные туда-сюда плавают и ползают; лучше, чем в этом... аквариуме. Потом мать из тюрьмы выпустили, и она меня из детдома забрала. Да, чуть не забыл, она вместе с отцом приехала меня забирать. Тут вот как получилось: когда она из тюрьмы на поезде ехала, в вагоне с отцом познакомилась; он тоже только что из тюрьмы освобождился; но всю эту петрушку я позже узнал. В общем, снюхались они, хотя отец был на пятнадцать лет матери моложе. Так, чо дальше-то было... Потом они решили пожениться, ага, и ребёнка из детдома усыновить. Приехали в наш детдом — меня им и отдали. Воспитательница, помню, привела меня за руку, показала на какую-то бабу с каким-то мужиком: «Сашенька, счастье-то какое — родители за тобой пришли!» Я уже большенький был, сообразил: врёт, ведь меня в капусте нашли, но спорить не стал — родители так родители.

Умеешь огорошить, молодец.

— Помню, как с Сахалина плыли на теплоходе, большом таком, белом, там бассейн был и кинотеатр. Потом поехали в Иркутск, к деду, потом на запад.

— На запад или на Запад?

Санёк указывает рукою на северо-восток:

— Туда, на Украину. Родня там у отца какая-то была. Поначалу было вроде бы всё хорошо — яблоки и всякие там разные груши, а потом чо-то скандалы у них попёрли; чо, из-за чего — не помню... Короче, поехали мы обратно в Иркутск. Так, чо потом-то...

Вспоминая, Санёк сумрачно цедит седьмую кружку пива.

— Зачем тебе это чёртовое пиво? — не удерживаюсь от вопроса. — Ведь незадорно пьёшь, словно тяжкую работу выполняешь.

Санёк отодвигает опустевшую кружку.

— Правда, гадость какая-то это пиво... пойду, шампусика возьму, — вскакивает, бежит к барной стойке. — Котлеточка ты моя мармеладная, ватрушечка ты моя бисквитная, дай-ка мне вон ту бутылочку шампусика! И шоколадочку, солнышко, себе не забудь! У-у-яай!!

Надо было уезжать, надо! Видел, и не раз, как после выпитой бутылки шампанского могучие на вид мужики падали, словно подгнившие берёзы в бурю... Ладно, пока занятный собеседник на ногах держится, посижу, послушаю.

Санёк бежит обратно, обрывая с горлышка бутылки желтоватую фольгу. Набулькав кружку, торопливо выпивает, кряхтит: «Хорошо!» и тут же наполняет кружку до краёв.

— Отец шофёром устроился на «газик», мать — на станцию, продавщицей в ларёк. Потом она пить начала, потом её с работы выгнали, потом она с отцом развелась, потом начала чуть ли не каждую неделю нового отца мне приводить, — продолжает рассказывать Санёк, пусто глядя на шипящее в кружке скверное пойло, на бутылочной этикетке обозначенное как шампанское. — Она, помню, была из себя красивая, фигуристая, мужики около неё так и крутились... Я этих «отцов» не запоминал — зачем? И домой из школы не очень торопился: приду, а она дрыхнет пьянушая во всяком разном виде... Эх, да чо там говорить!.. Найду на столе чо осталось от закуски — картошку или хлеба, значит, поем; не найду — да и фиг с ним... На обедах, прямо скажу, вырос, потому на еду жадности у меня нету.

Так, чо дальше-то было... Как-то прибежал из школы домой пораньше, а в спальне ещё один отец, последний уже, дядя Володя, колотит мать дужкой от кровати. Помнишь, были такие?

Конечно, помню. Стальная дужка весом около килограмма — оружие нештучное.

— По лицу её колошматит, по рукам, куда попало, короче, ага... Мать — в крови, и под ней, на полу, кровь — лужицами... Заорал я, в дядю Володю вцепился, он кулаком махнул — я отлетел. Вскочил... из носу капает... дунул на улицу, там как раз народу много шло. Бегу, кричу: «Маму мою убивают!» Ну, тут сразу все понобежали — и соседи, и прохожие, и милиция... Дядя Володя этой дужкой матери зубы повышибал, челюсть сломал в двух местах, ногу, рёбра, руку... Пьяные они были влохматинушку, это мать и спасло: трезвый, дядя Володя сразу забил бы её до смерти. Суд был. Мать привезли из больницы забинтованную, в гипсе, на костылях... Так она давай за дядю Володю заступаться, просила простить: он, типа, молодой ещё. Судья ей говорит: «Он же вас чуть не убил!» А мать ему: «Ничего, время придёт — образумится». А ещё она сказала, что всё получилось из-за меня, что это я во всём виноват, и если бы не я, у неё всё было бы хорошо. Ну, тут я просто обалдел, а сам подумал: «Да ну вас всех!» Короче, дяде Володе девять лет дали, а мать месяца три или четыре, чо ли, не помню, в больнице провалялась, ага. Вышла оттуда... вся красота на фотокарточках осталась.

— Как ты один жил эти три месяца?

Санёк допивает шампанское, пожимает плечами.

— Да так-то ничо вроде, совсем не по-ранешнему, ага. Соседи, пока я в школе был, печку протапливали, дров на всю зиму накололи; обедать зазывали, еды при-таскивали; я отъелся даже. В школе новую форму выдали, потом ранец, учебники, тетради, ещё пальто, шапку, шарф с варежками, ботинки — ведь у меня к зиме из одежды ничегошеньки не было. Стеснялся я тогда очень — из всей школы только мне помогали. *(Растирает лицо ладонями, встряхивается.)* Пойду-ка ещё шампусика возьму.

Вот уж дудки!

— Нет, мы едем в магазин.

— Зачем? — изумляется Санёк, и, когда я напоминаю ему, что надо купить продукты и отвезти их в гостиницу, он, вскрикнув: «Точно, продукты ведь!», нещадно бьёт кулаками себя по голове, бормоча: «Забыл, совсем забыл, ну надо же, а?»

— Пошли, — поторапливаю пассажира, — это ты можешь весь день пиво потягивать, а мне работать надо.

Санёк поднимается. Осиянный (действительно — «ни в одном глазу»), выбрасывает перед собою сжатый кулак:

— Эндрю, вперёд! У-у-яй!!

Забирает со стола батончики «Марс», суёт мне в руку: «Чо оставляешь-то?», бежит к выходу, рассыпая комплименты барменше, официантке и парочке поварих, обряженных в короткие и широкие бледные штанишки и куртки: «Ласточки вы мои белогруденькие, трясогузочки вы мои легкокрыленькие, не скучайте, я скоро к вам вернусь!» «Лети, соловей», — откликается ядрёная, щекастая повари-ха. «Разбойник», — прибавляет другая, персоною ядрёнее, лицом обыкновенная, и обе они басовито, вкусно хохочут.

— «Где же был я вчера, не найти днём с огнём!» У-у-яй!! «Только помню, что стены с обоями!» — с грохотом обрушиваясь по лестнице, распевает Санёк так

беспечно и весело, что невольно закрадывается подозрение о вздорности истории про сахалинский детдом, мачеху, будто бы искалеченную кроватною дужкою. — «Помню, Клавка была и подруга при ей! Целовался на кухне с обоими!» У-у-яй!!

Так и есть, нафантазировал: невозможно едва ли не плакать, через минуту ликовать.

Едва Коломбина трогается, Санёк вдруг надумывает ехать на берег реки, «посмотреть на воду, послушать, как она, голубушка, на перекате с камушками разговаривает». Согласно киваю, еду в магазин-склад «Вариант».

— Эндрю, а где речка-то?

— Позже. Запасайся продуктами.

— Ну, тогда пошли вместе, чо ли, — ворчит Санёк, — быстрее управимся.

В магазине он укладывает в тележку пятилитровую бутылку подсолнечного масла, швыряет две килограммовые упаковки мятных пряников и четыре трёхсотграммовые фруктовой карамели. Озирается: «Эндрю, глянь, где тут бич-пакеты». Не представляю себе, что это такое, потому пребываю в замешательстве.

— Ты чо, не знаешь? — удивляется Санёк и, найдя искомое, сбрасывает в тележку вороха мягких пакетиков. — Суп вермишелевый с мясом... двадцать штук возьму. О, гороховый! Гороховый — это пипец какая вкуснотища! Весь заберу. Ага, борщ... с майонезом ничо так, сойдёт; десять штук хватит. О, рассольник! Ужас как люблю рассольничек похлебать! Тоже весь заберу.

Иронически указываю на лапшу «Доширак», но Санёк отказывается: дорого.

— У тебя денег больше, чем у дурня махорки, а ты берёшь то, что подешевле, проще сказать, всякую ерунду! — упрекаю незадачливого заготовителя, намереваюсь предложить купить мясо, сало и прочие необходимые в тайге продукты, но вовремя вспоминаю о его единственном зубе. — Кстати, где список?

— Точно, была бумажка! Сейчас, сейчас... Вот она! — извлекает из паспорта сложенный вчетверо клочок бумаги в клеточку. Забираю, читаю: «Хлеб, крупа, сигареты, спички, носки, стельки, тушёнка...»

Записывал, что приходило в голову, упорядочить не догадался. Эх, Санёк, Санёк...

Скоро тележка пополняется десятью буханками вкуснейшего хлеба местной выпечки — «горбуновского», кульками с перловой, ячневой и гречневой крупами, четырнадцатью банками улан-удэнской тушёнки, двумя пачками маргарина (Санёк отказался от сливочного масла, заявив, что маргарин вкуснее), ячейкою яиц.

— Почему в списке снова «борщ»?

— Это который в стеклянных банках, там и рассольник тоже есть, — подумав, объясняет Санёк, но не может растолковать, зачем ему борщ и рассольник в пакетиках и в банках. — Да откуда же я знаю-то? — взглядывает с ребяческим недоумением, принудившим пожалеть о своей въедливости. — О, рыба! — останавливается перед выглядывающими из морозильного ларя синеватыми лучинами минтая. — Килограмма четыре возьму. Сам-то я её не ем, это Васеньке, коту, он мышей ловить не хочет, а рыбку, хитрован, любит. Хотя чо это я? откуда в лесу мыши? Я их не видел, ну, значит, их и нету, ага... А вот кедровок у нас — как грязи, но Васеньке их не достать: они, заразы, слишком высоко летают. (*Обозревает наполненную тележку.*) Так, а чо там дальше в бумажке-то?

Ещё раз просмотрев список, объявляю, что всё куплено, предлагаю сверх лимита взять плавленый сыр, паштет, абрикосовый компот, но Санёк с непонятным для меня испугом отказывается, говоря: «Ты чо, Эндрю? На кой мне вся эта фигня! Сейчас пива возьмём, тебе шоколадку — и на речку!» Напоминаю о футболках, стельках и носках, но Санёк начинает жалобно приговаривать: «Успеем, Эндрю!

Лучше поедем на речку, поедем, а?» Брюзгливо отвечаю: мол, на речку так на речку, мне всё равно, да хоть через экватор в Бодайбо, почему бы на эту речку и не съездить на полчаса, не больше. Воспрянув, Санёк прихватывает шесть бутылок своего любимого пива «Старый мельник» и, свободно неся тяжеленную сумку с продуктами, поторапливается к Коломбине. Усевшись, со словами «ужас как пить хочу!» откупоривает бутылку пива, выхлёбывает её до дна, вытирает губы рукавом куртки, счастливо вздыхает, смотрит на меня, и в его глазах появляется озабоченное выражение. «Эндрю, ты тоже пить хочешь?» Бежит в магазин и скоро возвращается с двухлитровым пакетом яблочного сока. Благодарю, чувствуя и признательность, и порядочную усталость от беспокойного пассажира.

— Погнали, Эндрю! У-у-яай!! «Издалика долго течёт река Волга, течёт река Волга, конца и края нет...» У-у-яай!! «...Среди снегов белых, среди хлебов спелых течёт моя Волга, а мне семнадцать лет».

А ведь хорошо поёт! Словами, словно копьями, прокалывает, мелодию будто из сердца достаёт, из самой души выхватывает, — слушайте, люди!

— Тебе на сцене надо было выступать, — говорю искренне, с чувством, — а не прозябать сторожем на Ковыкте.

Санёк выслушивает меня довольно равнодушно.

— Был я на сцене, ага. Когда дояром в колхозе работал, в клубе пел. Там капитально так всё сварганено было — музыканты, хор, дирижёрша... Помню, как только она руками замашет, я к баяну прислушаюсь, глаза прижмурю — пою... — он замолкает, с прозрачною улыбкою смотрит на дорогу. Поторапливаю:

— Дальше что было?

Санёк вздыхает, сминает лоб морщинами.

— Ну, это... не знаю, как сказать... Короче, я слова забывать стал. А больше-то, — яростно рубит кулаком воздух, — из-за бабы всё получилось.

«Всё из-за бабы» — отговорка издревле академическая, старее Луны. Не верю, другая причина кроется.

— Пожалуй, с похмелья можно не только слова позабыть.

— Ты чо, Эндрю?! — разобиженно вскидывается Санёк. — Я похмельем сроду не болел! Это после аварии я чо-то всё путать начал.

За разговором Коломбина незаметно сворачивает к речке, останавливается у самой воды. Санёк выпрыгивает на берег, раскидывает руки, голосит-поёт: «Здравствуй, ре-чень-ка! Здравствуй, род-нень-кая!» Сбрасывает куртку, садится на узкую галечную косу, кряхтя, стаскивает сапоги, носки, обнажает синюшные ступни, свою наружность, цветом и особенно забористым запашком весьма сходственные с американскими куриными окорочками, просроченными задолго до приснопамятной перестройки. «Благодатица какая, мошку твою наперекосяк, вспотеть можно, ага... — бормочет он, услаждённо пошевеливая пальцами, украшенными длинными, окостеневшими ногтями. — Зимой вечерами куковал в балке, слушал, как ветрище крышу рвёт, мечтал: попаду на речку, в воду забреду. Сейчас...» Подворачивает портки и без обыкновенных в таких случаях долгих и боязливых приготовлений заходит в воду сразу по колена. «Холодненькая... а ничо так, терпимо». Ополоснув лицо, озирается по сторонам, непечатными словами восторженно живописуя окружающие пейзажи. «Короче, просто охреневаю, какая в жигаловской дыре красотища, — огорчает моветоном панегирическую речь. — Ну, пора по пивку». Выпив две бутылки подряд, припоминает: «Чо-то такое я тебе рассказывал... а! про аварию!» — и, принявшись за третью, начинает своё повествование:

— Давно получилось, когда меня в армию забирали. Утром пришёл в военкомат, с меня документы потребовали; я пошарил в карманах — нету. Погоди, чо-то не то говорю... А, ага, вот как: документы мои у них уже были, просто я эту... метрику в общаге забыл! Стою, не знаю, чо делать — без метрики в армию не заберут. И тут дружок Виталька на мотоцикле подъехал меня в армию провожать. Запрыгнул я на его «Ковровец», даванул на газ до упора. Лечу в общагу, сам думаю: ерунда, успею. Я бы успел, да тут машина, что передо мной ехала, остановилась. Я тормозить, а тормозов-то у Витальки, оказывается, и нету... Начал объезжать, а там — «зиллок». (*Санёк откупоривает четвёртую бутылку.*) В больнице мне голову из кусков собрали, и врачаха (терапевт или кто она там, женщина из себя вся седая, но красивая, как из кинофильма) сказала... так, ага... она много чего мне тогда наговорила, я запомнил только, что память буду терять. И правда: вроде бы только что всё помнил, и вдруг, будто в башку из двустволки стрельнут, вообще ни хрена... Умные люди посоветовали записывать на бумажку, я так и делаю.

Понятно, отчего вмятина на голове. Из «кусков» её, конечно же, не собирали, вживили титановую или другую какую пластину. Да, облапила жизнь бедолагу, обლობызала, смертник не позавидует...

— Санёк, время вышло. Ты помнишь, что нам давно пора ехать в магазин?

— Ты чо, Эндрю, опять начинаешь-то?! Наплевать, съездим куда надо! Пиво вон ещё сколько осталось! Целых две бутылки!

Надо показать ему, что даже и моё терпение имеет пределы.

— Это мне на пиво твоё наплевать! Собирайся, поехали!

Кажется, грозowymi раскатами в голосе я переувлёкся. Санёк, буркнув «поехали, чо уж там», влезает в Коломбину, угрюмисто глядит в сторону. Обращаю его внимание на оставленное пиво, выслушиваю обиженное «На фига оно нужно, другому кому сгодится», забираю бутылки, и мы едем в направлении, неизвестном ни мне, ни безгласному водителю. Через полверсты решаю перебить чопорное молчание вопросом, не отправиться ли в супермаркет «Байкал», но Санёк избирает кафе «Гурман», до коего и допрыгиваем по колдоугробистому асфальту. Остановливаю Коломбину, приступаю выговаривать заранее приготовленное пожелание о необходимости незамедлительного расставания, но Санёк, не намереваясь меня выслушивать, схватывает бутылки, ставит их возле двери кафе и мчитя по наружной лестнице на второй этаж. Довольно скоро наверху раздаётся изрядно надоевший вопль «У-у-яай!!», по ступенькам скатывается Санёк и, прижимая к груди ритмично позвякивающий пакет, рысит к Коломбине. Не помыслю, как поступить с горе-пассажиром, потому на его вопрос «Куда едем?» молча пожимаю плечами.

— Я тоже не знаю... — печалится Санёк. — Придумай чо-нибудь, а?

— Командируемся в магазин за стельками, носками, футболкой и далее по списку, — отвечаю зачерствелым канцелярским голосом.

Санёк ударяет себя по лбу:

— Точно! И как это ты всё помнишь?!

— Не я, а моя голова. А твоя только о пиве и думает!

— Эндрю, ну чо ты опять как всё равно этот самый... — заводит было Санёк плаксивым голосом, но я без церемоний обрываю его нравоучительною фразою: мол, была бы моя воля, так я без промедления учинил бы над ним самосуд: поставил вон к тому забору и расстрелял солёными огурцами. Санёк широко и радостно ухмыляется, и мне тоже делается почему-то весело.

Вскликнув неизменное «у-у-яй!!»), Санёк затягивает популярную сорок лет назад песенку про девушку, плачущую в будке телефона-автомата, и мы едем в супермаркет «Байкал», затем в гостиницу, где он оставляет сумку с покупками и, наконец, к реке, где он заходит в воду, долго умывается, затем выходит на берег и принимается одну за другою опорожнять бутылки с пивом. После третьей я будто бы из праздного любопытства интересуюсь, где он родился.

— Я же говорил, на Сахалине. А где именно, забыл, — отвечает Санёк просто-душно, как человек, извинительно запамятовавший безынтересную пустяковину. Советую посмотреть в паспорте. Санёк вынимает документ, читает: «Сахалинская область, город Углегорск», подумав, говорит: — Да, всё правильно. Детдом тоже был углегорский.

— Родителей помнишь?

— Нет, — флегматически отзывается Санёк, при этом с необыкновенною живостью глядя по сторонам. — Эх, костерок бы стогоношить, чайку вскипятить! — вздыхает мечтательно. — Лучше всего ночью: огонь в воде ништяково бликует, а если там ещё и луна, и звёзды отсвечивают, так это ж триндец какая красотища! И по ночам, запомни, Эндрю, рыба охрентительно громко плещется! Сколь раз было: сидишь, слабенький чифирок пьёшь, на природу тарачишься... а уши расставишь, слушаешь... и вот, ага, совсем рядом ка-а-ак долбанёт! Ну, прикидываешь, килограмма на два белячок балуется или окунь, или таймень, или ещё кто, та же русалка, к примеру... А давай, Эндрю, костерочек сообразим?

Порадовавшись возможности уклониться от ненужной мне сейчас лирики, объясняю, что в пожароопасный период разведение костра даже на берегу реки чревато немалым штрафом, спрашиваю, кем ему приходился дед в Иркутске. Санёк, занятый бросанием камушков в воду и подсчётом выпекаемых ими «блинчиков», отвечает с прежним равнодушием, мол, «фиг его знает, матери, чо ли, родня», и тут же восторгается: «Ого, шесть штук вышло!»

— Где-то ещё у тебя родственники есть?

— Никого у меня нету. И не надо, я один привык.

— Что же мачеха?

— Ничо, померла, лет сорок как закопали. Тут чо вышло, как только я восемь классов закончил, меня поставили подметальщиком, стружку в цехе убирать. Не просто так — за зарплату. Сам себя кормить начал, ага. Ну-ка, ещё разок камушек кину... Ловко, восемь «блинов» испёк! Так, чо я ещё не рассказал-то... А, вот, я же в Шелехово в ПТУ на сварщика учился, ага, жил в общеаге (kozyрным тюзом кайфовал: своя кровать, тумбочка своя, белая прóстынь шампунью пахла!), а она в своей иркутской квартире обиталась, бухала по-чёрному.

— Как же она одна с дровами управлялась? Соседи помогали?

— Ты чо, Эндрю? Второй этаж, отопление, газ, какие ещё дрова!

Похоже, квартира раздвоилась.

— Откуда взялась благоустроенная квартира?

— Ту, что с дровами, мать вроде бы как продала, а ту, что с газом, то ли купила, то ли ей дали... Короче, не помню чо-то. Ну, я приезжал к ней кой-когда... она или пьяная, или — если вдруг трезвая — молчит, косится. Бичьё всякое около неё кучковалось. Как-то приехал, смотрю, дверь другая, новая. Звоню. Вышел здоровенный дядя, фиксатый, в наколках. Спросил его, где мать. Он на меня морду вылупил, говорит: «Очухался, фраерок! Мы её уже похоронили». Стою, даже не знаю, чо и сказать... Дядя дверь захлопнул. И, слышу, замкнулся. Я подумал: «Да пошли вы все!» — и ушёл.

Ай да Санёк! Убрался восвосяси от мачехиной квартиры, захваченной уголовниками. Убрался, не взглянув на свидетельство о смерти мачехи, не спросив у «здорового дяди» документы, не посмотрев прописку, не обратившись к участковому с просьбой выяснить, кто, на каком основании проживает по такому-то адресу...

— Поздравляю, Санёк! Ты — носитель вируса совершеннейшей наивности, а это похуже лихорадки Эбола. Не смотри на меня, дыши в сторону, не приближайся, не вздумай наступить на мою тень. Уяснил?

Санёк замирает, выкатывает на меня лазоревые глаза:

— А чо... ну, это... так это, выходит, квартиру я мог себе забрать?

Нет охоты ни сердиться, ни смеяться. Молча киваю головою, думая, это, конечно, хорошо, что пассажир оказался не пустобрёхом, но лучше бы он всё придумал.

— Ведь тогда ещё была у меня мысль про эту квартиру!.. — возбуждённо восклицает Санёк. — Потом забегался чо-то, забыл, потом жениться надумал... Так, чо потом... чо же, чо же... Ага, вот, передумал, на фиг эту Люську! Потом всё-таки на ней женился, ага... Так, чо ещё было-то... Вспомнил, где-то так через полгода сбежал от этой Люськи — всё ей, стервозе конопатой, денег было мало... Потом опять мысль пришла... — задумывается, вяло взмахивает рукою: — А, да ну их, связываться с ними, бандюгами!

Непритворно вздыхаю:

— Эх ты, Санёк-мотылёк, небедовая головушка...

— А чо это я мотылёк-то?

— Ты порхаешь в пределах даже не одной минуты — одной секунды...

— В самую точку заколотил! Я такой и есть! — перебивает Санёк с горячим одобрением в голосе, и после моего выговора за его нежелание заглянуть хотя бы в завтрашний день заливается насмешливым хохотом: — Ну, Эндрю, ты как брякнешь чо-нибудь! Завтра — когда ещё будет!

Действительно, когда ещё будет, будет ли...

Предлагаю сторожу-философу попытаться заглянуть в завтра, раскрываю перед ним вероятную перспективу его скорого увольнения: нынешний российский работодатель убеждён — срок физической и профессиональной пригодности работника заканчивается гораздо раньше момента назначения ему пенсии, а потому следует не дожидаться настоятельных требований кадровиков написать заявление об увольнении, а заранее позаботиться о своём трудоустройстве, к примеру, сторожем в магазин, на пилораму или ещё куда-нибудь.

Санёк взглядывает искося:

— Да ты чо, Эндрю?! Какое ещё, на хрен, увольнение? Начальство меня знаешь как ценит! Ведь я и за сторожа работаю, и за дворника, и за сварщика, и на разных работах, ага. За туфтовые семнадцать тысяч! Да какой дурак на такие копейки позарится?!

Напоминаю, позарился не кто иной, как он сам. Санёк располагает себя в позе весьма привольной: раскинувшись, упирает кулаки в широко расставленные колени, подрагивает небритыми щеками, сверкает взором и надменно вещает, что сторожем трудится едино обязанности ради, а другие работы выполняет, «если начальство хорошенько попросит, потому как если захочу — расчищу снег или заварю или приварю там чо-нибудь, а если не захочу — пальцем не пошевелю. Да они там, на Ковыкте, без меня, как без поганого ведра, не обойдутся!» Живёт не в тесноте, как остальные работяги, а в «личном балке».

— Это мой офис, — похвально Санёк, — там даже камин электрический есть, ага. Когда уволюсь, балок заберу. — Замечает моё непотаённое недоверие, злится: — Чо ты, не веришь мне, чо ли?! Начальство конкретно наобещало: балок — твой! Не отдадут добром — силком могу, — оглядывается боязливо, шепчет: — Знаешь, Эндрю, а ведь я — бандит.

Посмеявшись, возражаю:

— Ну, тогда я — балетмейстер.

— Не веришь, чо ли?!

Отвечаю, что его физиономией даже мышей не напугать, и Санёк, молвив: «Это — да, не страшный я какой-то...», никнет плешивою головою; оттопыренные уши пламенеют на солнце, будто печалются над горькою судьбинушкою своего хозяина. Жаль его, нужно для отвлечения отпустить какую-нибудь непритязательную остроту.

— Гляжу на тебя — и нос чешется... К чему бы?

Санёк меланхолически разглядывает свои босые ноги, потому отвечает не вдруг.

— Это к непогоде... — поворачивается ко мне, вонзается расширившимися глазами. — А чо, действительно могут запросто уволить?

Утешить, немедля утешить!

— Ни в коем случае — начальство тебя ценит.

Санёк выдыхает свистяще, словно пробитое пулею колесо.

— Так и я про то же говорю! У-у-яай!! — спешно обувшись, вскакивает на ноги. — Эндрю, погнали куда-нибудь! Во, придумал — в магазин за пивом!

Рекомендую купить бутылок двадцать водки, вылить в ведро, хлебать через край — это проще и дешевле. Санёк категорично заявляет, что предпочитает шампанское и пиво, после чего я принуждённо выслушиваю его путаный монолог о нелюбви к водке, коньяку и всякому вину, особливо, напиткам неблагородным, вроде самогона, браги и одеколона. Монолог обрывается у прилавка обращением к дебелий продавщице дивного послебальзаковского возраста: «Солнышко, дай я тебя в лобик поцелую!» «Ты, придурочный, чо городишь-то? Так только покойников целуют», — возражает продавщица. «Тогда в губки», — не смущается Санёк. «Наклонюся — подходи сзади, целуй сколь влезет, — снисходительно позволяет продавщица. — Не торчи зазря, — суровеет голосом, — давай покупай чо-нибудь и чеши отсюда». — «Ах ты, ёкарный бабай! Перец с чесноком, а не женщина! — восхищается Санёк. — Дай-ка ты мне, мяконькая ты моя, шесть бутылок „Старого мельника“». Забирая пиво, нахально оглаживает взглядом кустодиевские обводы продавщицы, изъявляет желание побороться с нею на сеновале. «Сдурел, чо ли? — дивится соблазнительница поневоле. — Куда ты, злодей тохачкий¹, лезешь? Навалюся — титьками задавлю». Наскоро объяснив продавщице, что казановствующий квазимодо сегодня приехал из тайги, отсюда и несдержанность языка и желаний, выслушав ответ «А то я сама не вижу!», волочу к выходу незадачливого ловеласа, шипя ему в ухо: «Ты даже представить себе не можешь, как очертенел... сейчас же в гостиницу!» Очутившись в Коломбине, Санёк бросает под ноги пакет с бутылками, горестно вздыхает: «Эх, не с кем выпить!», высунувшись в окно, кричит солнцу и прохожим: «Отдайте праздник!», затем, как-то враз угомонившись, требует отвезти себя в кафе «Гурман». Показываю фигу, спрашиваю, когда ему надлежит возвратиться на Ковыкту. Санёк вытаращивает глаза, вскрикивает: «Блин, варенье с мясом! Меня вахтовка ждёт в четыре часа!» — «Где?» — «Да в

¹Тохачкий (диалект.) — маленький, невзрачный.

гостинице же!» Автомобильные часы показывают 15:58. Застоявшаяся Коломбина радостно взрыкивает, рвёт с места; стрелка спидометра бодает цифру 100. «Из-за тебя, поганца, правила нарушаю!» — перекрикиваю неистовый бутылочный дребезг. «Пятый день с покоса еду, сена нет, дрова везу! Эндрю, газуй! У-у-яй!!» — надсаживает глотку Санёк, тыча кулаками во все стороны, заставляя меня волноваться за жизнь видеорегистратора, прилепленного к лобовому стеклу. Через две долгие минуты Коломбина тормозит около вахтового «Урала». Санёк схватывает пакет с бутылками, мчит к нему, крича на ходу: «Эндрю, корефан, пока! У-у-яй!!» Нелицемерно машу вслед, уповая на неблизкую встречу, не ведая, что состоится она скорее, нежели боюсь предположить.

На исходе второго месяца, когда Санёк почти отошёл из памяти, звонит женщина, спрашивает, действительно ли она «попала в такси „Друг“». После утвердительного «да» в трубке раздаются шуршащие звуки, крик: «Эндрю, это я! Жду! У-у-яй!!», вновь шорох, и женщина — убеждён, голос её мне известен — интересуется, заберу ли я «дядю Сашу». Справляюсь, куда именно приехать. «Кафе „Гурман“», — приподнято, распевно (вероятно, именно так в позапрошлом веке кучера провозглашали: «Ресторация „Яр“, вашество-с!») объявляет женщина, в коей бесповоротно признаю волоокую барменшу. Обнадёживаю явиться немедленно, и вот уже Санёк, непрерывно тараторя «Эндрю, корефан!», донимает объятиями, покушаясь на дружеские лобзания, но «брежневская» демонстрация подобных чувств произвольно настораживает, потому отвечаю нелюбезностями. Санёк (едва ли он меня услышал) прижимается полыхающим плешивым черепом, широчайше при этом улыбаясь; его глаза увлажнены лазоревым умилением. Отстраняюсь насколько возможно, спрашиваю, куда поедем.

— В банк! — кричит Санёк. — Потом обратно сюда, кофеёк пить! У-у-яй!!

— Значит, пива уже упился, на кофе потянуло, — отмечаю нарочито высушенным педагогическим голосом, и Санёк, весело ухмыляясь, соглашается, что «с утраца выпил всего-то бутылок шесть или десять, кто их там считал». Едем. Санёк безумолчно болтает и поёт, я же измышляю план пристойного избавления от докучливого пассажира. Скоро решение, простое как рогожа, найдено: привезу его в банк, кафе, затем уеду как будто на заправку — и пусть себе пьёт в одиночестве.

Но дело не заладилось — пенсия не перечислена, а из трёх ПИН-кодов для газпромовской карточки, не прежней («Глянь, Эндрю, новенькая. Круто, да?»), два оказались неверными. Спрашиваю, почему три ПИН-кода вместо одного. Санёк разводит руками: «Я не в курсях, это бухгалтерши с цифирьками чо-то понапоролли». Объясняю, что если и третий ПИН-код не сработает, карточка заблокируется. «На сутки, понимаешь?» Санёк топчется у банкомата, обеспокоенно бубнит: «Чо делать-то, а, Эндрю?» Пожимаю плечами: «Искать настоящий ПИН-код». Санёк перетрясает паспорт, выворачивает карманы, выгоревшую тряпичную кепчонку — заветного ПИН-кода нету. «Вот же, блин, компот с соляжкой... Ну, хрен с ним, набирай последнюю цифирьку». Напоминаю о возможной блокировке карты, но Санёк с видом человека, отважившегося на отчаянность, отмахивает рукою: «Нннабирай!» Набираю — карта блокируется. Санёк оцепеневает, лицо наливается румянцем, весьма напоминающим песчано-глинистый раствор, небритые щёки судорожно подёргиваются...

— Да как же так-то! — кричит приёмному устройству банкомата. — Ты чо творишь-то, а?! Отдай карту, козлина!

Пора вмешаться, иначе будет скандал.

Вытесняю пассажира на крыльцо, приговаривая, что всё это — чепуха, всё обойдётся, и прочие слова, какими обыкновенно утихомиривают детей или пьяных. Санёк, не слушая, глядит пред собою; его губы искривляет недобрая усмешка.

— Раньше свои кровные копейчонки получить — как нехер делать... а теперь... — задохнувшись, замолкает, набирает в грудь воздуха, клокочет: — Напридумывали, сволочи, ПИН-кодов разных!

Вдруг он едва ли не бегом устремляется через дорогу, к столбу линии электропередачи, вбивает кулак в его бетонный торс, отозвавшийся коротким гулом, поворачивает обратно. «Поехали в „Гурман“, чо ли», — невозмутимо говорит, подходя к крыльцу. Гляжу на него, гадаю: был хруст во время удара, или его поторопилось услышать моё воображение? Нет, всё-таки хруст был, должен быть.

— Едем в больницу: у тебя перелом руки.

— Не сочиняй, ничо у меня не сломано, — уверяет Санёк и для убедительности живо сжимает-разжимает кулак и шевелит пальцами (удивительно, на костяшках не наблюдаю ссадин и других повреждений). — Ты думаешь, я так первый раз, чо ли? Ха! Когда подопрёт ненастроение, засандалю разок-другой в стену балка или кузов самосвала, оно и проходит без всяких там пургенов и парацетамолов.

Доказательно излагает, но не для меня. Настаиваю ехать в хирургическое отделение, на всякий случай сделать рентгенограмму кисти руки. Санёк надувает губы: «Эндрю, ну чо ты опять цепляешься-то? Поехали лучше в „Гурман“». Соглашаюсь, и скоро наглядно удостоверяюсь: Санёк по-прежнему молодецки срыгает пробки с бутылок. Прodelывать этaкое и здоровою рукою затруднительно, потому совершенно успокаиваюсь.

Допив последнюю кружку пива, Санёк оглядывает пустое кафе, предлагает съездить на речку и, не ожидая ответа, кричит барменше:

— Мяконькая, дай ещё шесть бутылок пивка! Пенсию получу — отдам!

Барменша величественно подбоченивается, выпевает-ручьит:

— Не так давно, дядя Саша, здесь бичевьё всякое за твой счёт гуляло-веселилося, а теперь — даже ушам своим не верю — здра-асьте вам... Вправду денежки закончились или прикалываешься? (Санёк ёрзает на стуле, морщится: «Подумаешь... ну, угостил малость...») Ни хрена себе — «малость»! — вздыбливается барменша. — Прекрасно помню, без каких-то несчастных копеек — семь тысяч! И это — только на пропой! Ты Кольке, скотине косорожей, зачем пять тысяч взаймы дал? (Санёк смотрит на неё, словно вопрошая: «Что за станция такая?») Ить каждая собака знает: Колька долги не отдаёт! Я тебе подмаргивала, кулаком даже грозилася — не вздумай дать деньги! Да куда там, хаханьки одни!

— Ему, это... нужно было... — проямливает Санёк. — Ну вот, я и выручил, ага, — говорит уже укрепившимся голосом. — Как же человеку не помочь?

Лицо барменши освещается сочувственной печалью.

— Ты, дядя Саша, совсем дурак, или чо ли? (Санёк — олицетворение человека, оплошно растопившего печь лотерейным билетом, выигравшим квартиру в Иркутске.) Ведь смотреть противно, как тебя разводят на бабки все кому не лень, а ты как всё равно звезданутый — ничо не соображаешь! — барменша, переведя дух, обращается ко мне: — Ить совсем замучилася по-хорошему и по всякому-то ему объяснять, да толку-то — поит-кормит всех подряд! Короче, — повёртывается к Саньку, — не дам пива, и не проси! Кстати, ты не забыл, что сегодня уже набрался в долг на... сейчас гляну, у меня всё записано... на шестьсот сорок восемь

рублей? Так что, дядя Саша, завязывай давай с этой пьянкой. А если уж очень выпить хочешь, я тебе чаю бесплатно налью.

— Вот такое тебе большущее спасибочко за чай, сливочная ты моя, но лучше выкати четыре бутылки... ну, всего-то-навсего три... ну, хрен с ним, хотя бы две... ну чо тебе, мармеладная, вкусненькая, одну жалко, чо ли... — умильно созерцая непоколебимую барменшу, заводит Санёк бесконечную, петлистую, как сибирский большак, песнь попрошаек. — погоди! — вскрикивает вдруг радостно. — Дай-ка бутылку! Нет, давай две. Стоп, на хрена мне две, давай три. Нет, три маловато... четыре! Да не бойсь, шоколадная, Эндрю забашляет, ведь он же мой корефан!

Барменша, немало поражённая его словами (я — тоже, но молча вынимаю бу-мажник), медленно выговаривает зыбким голосом: «Ну, как-то даже и не знаю...», раздумчиво поводит модельными плечами, затем, молвив словно бы самой себе: «Хотя, разобраться, мне-то какая разница?», устанавливает на стойку четыре бутылки «Старого мельника».

Санёк залпом выпивает кружку пива, улыбается тихо, просветлённо. «Похоже, ты удовлетворён вполне», — говорю без неодобрения, и Санёк, несколько раз кряду согласно мотнув плешивую голову, наполняет вторую кружку. Выпив, кряхтит, утирает губы рукавом выгоревшей джинсовой куртки. «Охренительно, блин...» — окутывает меня лазоревою благодатью глаз.

— Расскажи, Санёк, что тебе нужно для счастья?

Вопрос ребячески наивен, но моему визави он таковым не кажется.

— Ничо мне не надо, всё у меня есть, — отвечает безраздумчиво, категорически. — А-а, ты про деньги, чо ли? — прищуривается с неожиданной снисходительностью. — На кой они? Хотя совсем без них — тоже как-то не в кайф... — Коротко задумывается. — Я тебе так скажу: много их ни к чему, ага. Так, чо ещё... Жить у меня есть где, так чо ещё надо-то?

Быстро выговорился. Подбодрю-ка я тебя иронией.

— Это ты про ковыктинский балок с камином и котом Васькой?

— Да я, если хочешь знать, — ухарски поглядев на меня и подбочениваясь, начинает Санёк горделивую речь, — своим бабам две квартиры отдал! Первую, это ещё в Шелехово, — Люське, вторую, уже здесь, — Светке. Из первой сам ушёл, ага. Во вторую как-то под осень с Ковыкты приехал, а там уже другие жительство-ют. Здравсьте, пешком ехали — приплыли! Ну, я им, конечно: «Чо такое? Светка где?» На меня вылупились, говорят: «Мы квартиру месяц назад купили, можем документы показать. Хозяйка, понятное дело, манатки собрала, отвалила куда-то. Она, кстати, паспорт позабыла, возьми, если твой». Ну, чо ж... дело уже к вечеру, а я торчу на улице как этот самый... ни трусов чистых, ни носков на сменку, без ничего вообще, паспорт да сигареты в кармане. Постоял, подумал — попёрся к знакомым ночевать. — Санёк опустошает бутылку пива, ожесточённо стучит кулаком по столу: — Как эта хитрозадая Светка словчилась квартиру продать, если она на меня одного приватизирована была, хрен её вообще знает!

Как ты сам не догадываешься, вот уж, действительно, чёрт тебя знает!..

Спрашиваю как бы так, между прочим, кто занимался приватизацией квартиры.

— Так Светка по исполкомам носилась, кто же ещё-то? — отвечает Санёк. — Где-то в начале девяностых квартиру мне дали от предприятия, это я точно помню: в ордер я был вписан, не кто-нибудь. А Светке чо-то аж засвербило её приватизи-ровать... Тут я как раз на Ковыкту выехал, она сама нужные справки собирала, а чо ей — безработная, детей нету, свободного времени навалом. Квартиру на меня

оформила. «Теперь ты над квадратными метрами хозяин». Так и сказала, и бумажки какие-то показала с печатями.

Мною вдруг овладевает смех...

Пытаюсь сдержаться, сдавливаю челюсти, нахмуриваю брови, в пожарном порядке считаю про себя: «Раз-два-три...», но уже на цифре «пять» загнанный глубоко внутрь хохот буквально вышибается наружу, и притом ещё и с неприличным бульканьем и присвистом. «Что ты ржёшь-то?» — удивлённо спрашивает Санёк, но я не могу остановиться, и вот уже и он сам начинает улыбаться и тоненько подхихкивать, уморительно блестя при этом своим единственным жёлтым зубом... Мы посиживаем и, глядя друг на друга, превесело хохочем. Барменша поглядывает с некоторым неудовольствием, словно мы воплощаем собою правую сторону бухгалтерских счетов; представляю себе, какие смятенные мысли вынашиваются в её не по-деревенски элегантно убранный головке...

Отсмеявшись, говорю, что невпопад вспомнил анекдот про Чапаева. Санёк сейчас же заинтересовывается: «Какой? Расскажи!» Не поборник я анекдотов, нечего вспомнить, проще измыслить что-нибудь незатейливое.

— Прискакал Василий Иванович в Жигалово, спрашивает, где Санёк.

— Да ты чо?! — ахает герой анекдота.

— Жигаловские заинтриговались: «Зачем он тебе, Василий Иванович?» А Чапаев грозно так отвечает: «Если эта белогвардейская шкура сейчас же не побежит в банк за пенсией, я ему башку срублю!»

Санёк, едва выговоривши «Ну, Эндрю, ты как дунешь чо-нибудь!..», широко растворяет пустой рот и щедро рассыпает вокруг себя сочные баритональные хохотки.

Похоже, мы забавляем друг друга — это грустно.

— Чо ты ржёшь-то? — обезьянничая прилежно. — Живо собирайся, поехали твою пенсию получать. Или Чапаева дожидаться?

— Шесть секунд! — кричит Санёк. Торопливо выхлебав четвертую и последнюю бутылку пива, бежит к выходу. — Эндрю, погнажи! У-у-яй!!

Подъезжаем к банку.

— Знаю, где найти Светку, — говорит вдруг Санёк, за дорогу слова не проронивший, — да только зачем? Пошли ей бог побольше счастья, — шепчет, обмахивая куртку частыми мелкими крестиками и несуразно кланяясь, быть может, своему божку. — Баба, чо уж там, она хорошая была. Паскудливая, это правда, но — хорошая.

Обманывается волоокая барменша. Не дурак ты, братец, всего лишь (или же — вероятнее всего) неистовый толстовец, но этого я тебе не скажу. Лучше проделаю вот что: сниму пенсию, отдам — и делай с нею что хочешь, сам уеду.

Замысел удаётся как нельзя лучше: мы свободны — я и Коломбина!

Поздним вечером, когда я намеревался отключить телефон, — очередной вызов. «Эндрю, это я, — глухо слышится обеспокоенный голос. — Ты, это... ехай к банкомату».

Похоже, мотылёк влетел в переделку... Обещаю быть через минуту, жму на газ.

Санёк переминается возле дверей банка. Поодаль от него безвестный субъект в нахлобученной на оттопыренные уши бейсболке усердно обозревает вымазанный в белёсо-канареечный цвет трёхэтажный улей районной администрации, словом, не то ротозей, не то соглядатай.

Завидев меня, Санёк, нелепо приплясывая, приседая и размахивая при этом руками, спешит навстречу, ухмыляясь чересчур просторно и чуть шкодливо.

Подбежав, уставляет лазурные глаза, расфокусированные, подёрнутые мутною хмельною дымкою, без пролога запрашивает «тысячи три или пять, или сколько дашь, ну вот просто кровь из носа как надо». Мысленно вынимаю журналистский блокнот, приступаю к расследованию, краем глаза наблюдая, как субъект с видом совершенно рассеянным начинает передвигаться к стоящему на выезде из площади хлебному киоску, затем заворачивает за него и через мгновение оказывается уже на улице Горького.

Между тем выяснилось удивительное. Получив пенсию, Санёк направился в кафе «Антоника», где увидел проезжего парня, печально созерцающего пустой стол. Скажите, какое отечественное простолудинское сердце не обомрёт, увидев столь душераздирательную картину? Какая неиноземная мешчанская душа, жалея, что нет на столе ни борща, ни жареной курицы, ни хотя бы пирогов с капустою, не промокнёт сочувственную слезу рукавом или фартуком? Какая новорусская изнеженная рука, покорившись мгновенному пароксизму старозаветного прекраснодушия, не выдернет из пиджачного кармана увесистый бумажник? Санёк сейчас же заполонил стол сверкающими бутылками и простыми питательными закусками. Выпив и отужинав, парень поведал о своей горести: в далёком камчатском посёлке его нежно любимая невеста спозналась со столичным студентом; нужно немедленно спасать будущую семью — «он говорил, да я не помню точно, брюхатая его невеста или уже родила. С работы на Ковыкте, где он горбатился на бульдозере, его хоть и отпустили, но зарплату не дали, сказали: ты чо, денег нету, откуда им взяться?» Парень приехал на попутках в Жигалово, а как будет добираться до родной Камчатки, совершенно не представляет. И вот он сидит в этом кафе без копейки в кармане, даже спички купить не на что, и горюет... Расчувствовавшись, Санёк отдал ему все свои деньги, после чего парень вышел покурить, а на его нагретый стул присел другой — «не помню, откуда он взялся», и, непринуждённо ужиная и выпивая, рассказал, что в затерянной где-то в мордовских захолустьях деревеньке пока ещё живёт его смертельно больная старушка-мать; денег на лекарства у матери нет — «ты чо, откуда? едва на хлеб хватает», — и ему на Ковыкте, где он полгода вкалывал вальщиком, зарплату не выдали, сказали: жирно будет, обойдётся; и он пешком в сибирскую жару, заживо сжираемый ордами комаров и мошкары, сто двадцать четыре километра плёлся до Жигалово; на каких перекладных будет добираться до своей мордовской деревушки, не знает, где раздобыть деньги на лекарства для матери, даже смутно себе не представляет, но слышал: мир не без добрых людей... Растрогавшись, — «ты чо, меня слеза прошибла!» — Санёк сейчас же предложил ему свою помощь: пенсию.

— А на карточке — пусто-ноль... забыл совсем, башка дырявая, что пенсию сегодня уже получил... вот же, блин, кисель с горчицей... и тут меня будто по башке долбануло, про тебя вспомнил, ага... — пританцовывает вокруг меня этот не то дураковствующий, не то блаженный. — Эндрю, корефан, дай тысяч десять, надо помочь хорошему человеку! Ну так чо, — теревит за рукав, — дашь?

Не замай — субъекта, мнимого вальщика, заглатывают густеющие сумерки. Поспешает к напарнику, сиречь подельнику — «бульдозеристу»? Впрочем, уже всё равно.

— Помочь, говоришь? Что ж, я готов. Где он?

Донельзя обрадованный, Санёк со словами «Да вот же!» оборачивается указать своего протеже, по-бабьи плещет руками: «Куда делся? Ведь только что тут был!» — и беспомощно озирается по сторонам. Гляжу, как в наивной лазоревом-

сти его глаз трепещутся хрустальные капли, и буквально удерживаю себя за язык, дабы вгорячах не нагородить частокол из необычайно уместных, но — увы! — бесполезных бранных слов... Поворачиваюсь спиной к незадачливому благотворителю, иду к Коломбине.

— Эндрю, — голос дрожит недоумением, — куда ты?

Приостанавливаюсь.

— Работать, куда же ещё. А ты разыщи доброхота, тебе это просто: свояк свояка видит издалека, попроси тысяч тридцать на билет до Сахалина. Опосля посидим в «Гурмане», будем пить (ты — пиво, я — кофе) и вышучивать ещё одного доверчивого идиота.

Досаду на себя — последнее слово произнесено напрасно. Следовало выразиться стилем изворотливым, эзоповским, — глобализационным, когда оскорбление оскорблением назвать нельзя, например, вот так: «...простосердечного партнёра», или же ещё перекрученнее, до абсолютной якобы бессмыслицы, вот так: «...неопалимого партнёра», попросту говоря — клинического... Но что этот «клинический» кричит?

— Эндрю, а я?!

Действительно, что с тобою, болезным, делать? Впрочем, довольно раздражаться, настала пора пошутить, или, как нелепо сейчас выражаются, приколоться.

Приглашаю ничего не подозревающую жертву розыгрыша в Коломбину, включаю зажигание, но двигатель не завожу. Наигравшись педалью тормоза и кнопками климат-контроля, с отчаянием провинциального трагика схватываюсь за голову: «Чёрт возьми, кажется, приехали!..» — и обвиняю пассажира: мол, это всё из-за тебя!

— Чо, чо из-за меня? — испуганно лепечет Санёк. Вытаращиваю на него глаза, рывкаю:

— А то, что машина померла! Посмотри — на панели всякие разноцветные штуковины светятся! Это от твоей наивности аккумулятор разрядился!

Санёк едва не плачет.

— Эндрю, чо теперь делать-то?

Молодец, превосходный вопрос!

— Умнеть, вот что! Если пообещаешь избавиться от барского обыкновения швыряться деньгами налево и направо — машина заведётся. Не пообещаешь — не заведётся.

— Правда? — спрашивает Санёк с любопытством. После моего утвердительного ответа вскрикивает: «Гадом буду!» — и размахивает кулаками. Не спрашивая, что сие означает, доворачиваю ключ зажигания, и Коломбина отзывается откровенно сардоническими похохатываниями стотридцатисильного двигателя. Санёк привскакивает, распаивает сияющие восторгом незабудковые глаза — вылитый детсадовский мальчонка, впервые увидевший взаправдашнего Деда Мороза в тулупе, обшитом кумачовым ситцем, обклеенном фольговыми снежинками и ватной бородой, подвязанной под взопревшей физиономией раскормленной воспитательницы.

Заготовленный смешок увязает в горле...

— Хватит дурака валять, поехали! — говорю намеренно грубым голосом, отгоняя вдруг постучавшуюся мысль: «Сентиментальничаю... это уже старость». Брр! Само звучание этого слова омерзительнее прикосновения занавеси заржавленной чердачной паутины...

— Куда едем? — разгоняет Санёк начавшие сосредоточиваться безотрадные думы, за что я ему безмерно благодарен. А вот куда ехать, следует поразмыслить, хотя, когда выбирать особо не из чего, надобно ли затрудняться...

— В «Гурман», куда же ещё.

Санёк вяжется с пьяными нежностями: «Эндрю, корефанушка ты мой родненький! Как это ты догадался!» Решительно пресекаю его поползновение на изъявление чувств и уже по дороге в кафе принимаюсь исподволь выведывать разгадку изумительнейшего прекраснородушия, весьма странного в человеке, должного, как многие и многие вокруг, озлобиться на всё живое после стольких оглушительных оплеух судьбы. «Как это? Ты чо! Да я всех люблю!» — отвечает Санёк мои домыслы, и на вопрос: почему? — отвечает, что «люблю — и всё тут, чо ещё объяснять-то, не пойму». Не удовлетворившись ответом, продолжаю расспросы, и Санёк, запинаясь, подсобляя себе неистовой жестикуляцией, рассказывает:

— Видишь небо? Я его люблю. Видишь луну? Я её тоже люблю. Солнце люблю и дождь, и траву, и ветер, и рыбу в реке, ага. Даже мошку люблю. А чо? Она ведь живая, и тоже жить и жрать хочет, как ты или я. Деревья люблю. Прижмёшься ухом к стволу кедра, а он гудит себе полегонечку, рассказывает чо-то; а сила от него... вот прямо всеми печёнками чувствуешь, что такая от него страшная силища прёт... даже не знаю, как её и назвать. Постоишь так, послушаешь — и носишься потом весь день и совсем не устаёшь, будто от высоковольтного кабеля подзарядился, ага. Когда услышу, как деревья валят, в организме всё корёжится, будто это меня самого заживо перепиливают... (*Санёк нахмуривается, его лицо перекашивает судорога.*) На букашку какую-нибудь посмотришь — бежит-торопится по своим делам, никому ничего плохого не делает; бурундук туда-сюда шмыгает — и ведь никому дорогу не перебегает; медведь идёт, важный, как начальник участка, и тоже никому не мешает; птицы вон как быстро летают, а я никогда не видал, чтобы они в воздухе сшибались. Короче, движуха в лесу та ещё, а тесноты, что странно, в нём нету, ага. Как-то так в природе всё охренительно толково устроено (*Санёк в замешательстве вертит перед собою ладонями, сложенными в подобие земного шара*), не то, что у нас. Короче говоря, не нашими мозгами придумано. Человек, он... — Санёк задумывается, затем наклоняется ко мне, шепчет: — Я вот чо иногда думаю: мы здесь лишние, как всё равно в рассольнике гаечный ключ. Ведь, разобраться, только гадить умеем. Посмотришь по сторонам — лес растёт, и вроде бы полно его, а за сопками одни пеньки торчат. Зачем его вырезали, для чего, для кого? Человек — тварь паскудная, не ради жизни живёт, а ради денег, из-за них всё вокруг себя гробит. Вот посмотришь, потерпит нас природа, потом психанёт — и вытряхнет, как крошки из кармана... Эндрю, ты не подумай, людей я тоже люблю, — спохватывается Санёк, — хотя жалко мне их. Дерево никому не вредит — и живёт тысячу лет. Прикинь, если бы человек жил столько же? Да вокруг уже была бы эта, как её... пустыня Сахара! А мы все давно передохли, как мамонты. А, да чо там вообще говорить!.. — машет рукою Санёк и, заметив, что Коломбина дремлет подле кафе, вылезает и молча взбирается по лестнице на второй этаж. Без обычного ёрничанья заказывает пиво и, выпив подряд две кружки, долго глядит в угол.

Решаюсь расстроить общее молчание мятежным размышлением: мол, а хо-рошо бы властям предержавшим головами обо что-нибудь твёрдое поизряднее удариться. Санёк взглядывает на меня, безмолвно спрашивая: зачем? Объясняю: некоторые индивидуумы собственным примером убедительно доказали: оное за-

нятие надобно для приобретения разума. Санёк, буркнув: «Херню какую-то городишь», наливает вторую кружку и, то приближая её к самому носу, то отставляя, изучает вздувающуюся пивную пену.

— Я, было дело, посоображал, чуть черепушка не треснула... — говорит, задумчиво глядя на лопающиеся грязно-жёлтые пузыри. — Скважины везде насверлили, чтобы газ выкачать, а через них вода под землю уходит, из-за этого и реки обмелели...

Перебиваю:

— Так вот почему вода в Жигалово наполовину дурная, наполовину привозная! Ну-ка, сознайся, кто заставляет тебя заниматься неумеренной благотворительностью и прочими благоглупостями, короче говоря, кто в твоей голове скважины сверлит?

Санёк озирается на пустые столы, наваливается грудью на стол, устремляет палец вверх, шепчет таинственно:

— Эндрю, мне кажется, это они говорят, чо мне делать.

Запрокидывается на спинку стула, глядит ненасмешливо, с необъяснимой строжинкою в взбаламученной лазури глаз.

— «Они» — это маленькие зелёные человечки? — справляется за меня зажившийся во мне (но, в отличие от меня, похвально нерастерявшийся) корреспондент районной газеты.

— Не знаю, я их не видел, — сожалеюще произносит Санёк, — но это они, это точно.

Знатно затаился, ниотколь тебя не выцелить...

Вцепляюсь в ускользящие зрачки своего визави:

— Ты раздаёшь деньги первым встречным коварным краснобаям. Но, как сейчас говорят, это твоя проблема... Меня интересует побудительная причина. Скажи, что ты испытываешь в мгновение «человеколюбивого» поступка? Восхитительный зуд в пятках? Очаровательное коловращение промеж ушей? Говори, не молчи!

Санёк бурчит невнятные словеса: мол, раздаю да и раздаю, тебе-то чо, — и, прихлёбывая из кружки, пространно рассуждает о помощи людям, которые, «если чо, тоже подмогнут, если не мне, так кому другому, ага». Спрашиваю, часто ли ему помогают, но Санёк, занятый сдиранием пробки с бутылки, будто не слышит. Добро, допеку тебя с другого боку.

— Куртка зимняя у тебя хорошая, тёплая. Может, отдашь?

— Забирай, для корефана ничего не жалко, — промолвливает Санёк небрежно, будто угостил прохожего сигаретою, и на вопрос, где раздобудет другую, отвечает, что до зимы ещё далеко, а когда она наступит, «на Ковыкте без базара выдадут другую, делов-то, или куплю; тоже мне, нашёл о чём переживать». Непрошибаемое простодушие! Так ему и говорю, но Санёк меня или не услышал, или не понял. И вдруг осеняет догадка... правды ради, не ошеломляющая первородностью мысли.

— Ты, Санёк-мотылёк, последний «совок»! — заявляю торжествующим голосом. — Тебя надо посадить в стеклянную клетку и предьявить архипросвещённой Европе. Вообрази, — начинаю увлекаться, — ты рассказываешь педерастам, трансвеститам, лесбиянкам, мигрантам и немногим обычным европейцам о необходимости безотлагательного запрета однополых браков, о любви и дружбе, справедливости, социальной ответственности капитала, безвозмездной, по обыкновению ныне почившего Советского Союза, помощи страждущим и прочих неудо-

боязливых для них категориях, и время от времени возглашаешь: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Туристы, зеваки и прохожие сбиваются в толпу; она любопытничает, ширится, напирает; ты швыряешь в разъявленные рты бурлящие праведным гневом лозунги «Мир — народам!», «Хлеб — голодным!», «Земля — крестьянам!», «Заводы — рабочим!», «Глобализаторов — к стенке!» (*Санёк кричит рот, глядит беспокойными глазами.*) Успех, не сомневайся, будет бешеный. Доход от показа, как автор идеи, забираю себе. Похороны за мой счёт, — сообщаю с демонической (хочется надеяться) улыбкою. Санёк словно бы с неохотой встречается: «Какие ещё, на хрен, похороны?» — Чудак! Твои, конечно. Европейцы — не мы, у них самая настоящая свобода, потому парабеллум может оказаться у любого зрителя. Дня через два или даже ещё раньше тебя пристрелит какой-нибудь обкуренный араб. Радуйся — ты умрёшь за демократию.

Пробубнив «Что-то мне нерадостно как-то...», Санёк пьёт пиво безудовольственно, будто чай со льдом. Не выдерживаю, начинаю хохотать. Санёк зевает в кулак, тихо вздыхает:

— Шутковал, значит... А я чуть не подумал, что у тебя крыша поехала.

— Не дождёшься, накрепко приколочена, — отвечаю как можно твёрже и продолжаю говорить заунывным голосом, коим отличаются наезжие агитаторы от как будто бы партий или общественных движений: — Тебя, последнего натурального «совка», чрезвычайно полезно показывать беременным женщинам, интеллигенции и прочей отечественной общественности, потому настоятельно ходатайствуй персональную залу в Иркутском художественном музее или сцену Иркутского же драматического театра, или любого другого, кроме, разумеется, анатомического... Небезосновательно уверен: после лицецерения и прослушивания тебя дети будут рождаться просветлёнными, общественность сделается покладистой и прогрессивной...

Голова Санька клонится к плечу, синь глаз омрачается бутылочной прозеленью. Насилу выговорив «Ага... оно, конечно...», зевает во весь рот. «Коломбина заждалась: баиньки пора. Поехали в гостиницу» — с этими словами довольно-таки неаккуратно волочу его со стула, но Санёк вдруг оживает, словно размороженный головастик, супротивничает: «Ты чо, Эндрю, какая, на хрен, гостиница! Не, я ещё посижу». Встряхнувшись, растирает ладонями лицо, голосит своё «у-у-яай!!» — и через мгновение, освежённый, блистает глазами и радостно оскаливает свой единственный зуб. Напоминаю, до гостиничной кровати придётся прошагать два километра с немалым гаком, но Санёк лишь ухмыляется и отвечает, что уж кому не привыкать к продолжительным пешим прогулкам, так это ему — когда одолевает бессонница, может «всю ночь запросто шарахаться по посёлку или по тайге, ага». Что ж, твоя взяла, оставайся.

...Стою около Коломбины, гляжу, как головёшки заката дотлевают на макушках приземистых сопок, тропа Млечного Пути расплосовывает болотистые тучки-кочки, мохнатые звёзды мигают спросонья, луна... А вот с нею сегодня явно что-то не так. Это забавно: она смахивает на Санька, такая же полная, беззубая и немножко навеселе.

...Предосеннею порою знобкие августовские утренники исподволь обмарывают первыми жёлтыми пятнами и разводами листья и травы, обветривают, выдубливают их недавно нежную кожу в тончайший пергамент, провяливают ветви и стебли до проволочной упругости, летнее мечтательное перешёптывание листвы низводится до неотзывчивого деловитого шелестения. Приготовляясь к долгому

зимнему забытию, деревья и кусты начинают словно бы отъединяться от собратьев, отчего поздней головеточной осенью леса и парки удивительно сходятся с привокзальной платформой, где в ожидании поезда пассажиры маются вместе и порознь одновременно. Вот и попробуй угадать, то ли мы неосознанно руководствуемся природою, то ли она ёрнически нас передразнивает, то ли мы с нею образуем единый и несколько бездушный механизм...

Санёк звонил не однажды. «Эндрю, приезжай, ну приезжай, а?» — кричал он в трубку, но я тотчас же отвечал, что, мол, занят так, что и не продохнуть, непременно приеду как только смогу, короче говоря, моей беззастенчивой лжи мог позавидовать иной политический деятель регионального изготовления. Конечно, я поступал скверно, однако замечу, осенняя меланхолия может меня извинить, к тому же короткое общение с наивностью, возможно, и хорошо, даже полезно, но наивность откровенную, отворенную до неприличия, даже непродолжительное время вытерпеть совершенно невозможно. Наверное, я не прав... да что там, конечно же, не прав, но я и на толику не толерантен и совсем не жених, который в волнительный момент обмена обручальными кольцами, чувствуя, как по ноге ползёт что-то мерзкое, гусеница или мокрица, должен стоически удерживать на лице выражение совершенно неизъяснимого счастья.

Кажется, я убедил себя в своей невинности, и доволен об этом...

— Давайте подъезжайте побыстрее! — вопиёт из телефона паническое крещендо волоокой барменши. — Тут дядя Саша уже весь мозг вынес! Поторопитесь! Да уж придётся...

Санёк посиживает на своём излюбленном месте у окна, разгневанно взирает то ли на вспыснутые недавним дождём стёкла, то ли на зябкие шиферные и металлические крыши домов и столпившиеся внизу лесовозы. Пожалуй, его лицо может успешно иллюстрировать броуновское движение: брови изламываются и подпрыгивают, на скулах трепещут желваки, нос вздрагивает, разворачивая приплюснутый кончик в разные стороны, щёки и даже уши приметно подёргиваются, ладони мечутся по столу, едва не опрокидывая пивные бутылки, пальцы то сжимаются в кулаки, то отбарабанивают сумбурный и нервный ритм.

Шумно отодвигаю стул, сажусь, нарочито громко здороваюсь. Санёк перебрасывает на меня бешеные глаза, рычит: «А-а!..» — и снова уставляется в окно.

— Рассказывай.

Зябко вздрогнув плечами, Санёк выдыхает: «Люди злые какие-то...» и, замолчав, крепко играет желваками. Через минуту-другую советую ему повествовать потише, иначе оглохнуть недолго. Весь содрогнувшись, Санёк ударяет кулаками по столу:

— Чо тебе рассказывать-то?! (*Ошалело взирает на бутылку, будто пятилетний мальчуган на вдруг разрядившийся планшет.*) Уволили, на хрен!

Выждав, осторожно замечаю, мол, мнится мне, что заявление об уходе было написано под влиянием нетрезвого или какого иного неустойчивого момента.

— Блин, сказано же тебе, что не писал я никакого заявления! — взъярившись, кричит Санёк, при этом брызгая слюною так удачно, что мне приходится далеко отодвинуться от него вместе со стулом. — Вчера приехал на Ковыкту, мастер ласково так мне говорит, что я здесь уже не работаю, что приказ пришёл, и что бухгалтерия уже расчёт на мою карточку закинула. Ну, тут я просто обалдел! Ни хрена себе, лапша с болтами!

Перебиваю:

— Ты приказ этот видел, читал?

— Да не показали мне его! — Санёк заносит было над столом кулак, но, как-то сразу сникнув, повествует, что заглянуть в приказ не догадался. «Не допёр я, понятно тебе? — удовлетворился устным изложением. — Чо толку от приказа, если на моё место другого назначили! — снова закипает Санёк. — Мастер, гнида мелкая, махом подсуетился, своего племянника пристроил! Погоди-ка, погоди... А-а, вот зачем он ко мне всё подъезжал-подкрадывался, увольняться предлагал! — несказанно изумляется Санёк собственной догадливости и вдруг переходит на тихий, проникновенный шёпот: — Ты, в уши мне дул, уже старенький, ты больной... Да я ж тебя!.. В рот пароход!.. Порву козла на лоскуты!

Санёк сжимает кулаки, вскакивает, озирается с видом насколько зловещим, настолько потерянном. Успокаиваю его, что мастера здесь нет, он далеко, на Ковыкте, разумно не злобствовать попусту, а, пока пиво не поспело нагреться, все-сторонне обсудить проблему трудоустройства. Иной раз официальные обороты действуют успокоительно — Санёк плотно садится на стул, смотрит выжидательно. Предлагаю ему отрекомендоваться руководству оптовых баз, магазинов, кафе, но Санёк, поморщившись, справедливо опасается, что его «как нефиг делать, ещё и грузчиком, и дворником припрягут». Остаётся последний вариант — пилорамы. К моему немалому удивлению, Санёк возглашает: «Точняк!» — и объявляет, что мы едем к его знакомому, который для него «в доску расшибётся, ага».

Знакомый моего визави обретается в доме, непрезентабельном для Подмоковья, здесь непреложно значительном. Потоптавшись возле него, набравшись духу, Санёк просачивается через широкую и высокую кованую калитку, и скоро (я сигарету не докурил) выскакивает с криком «Эндрю, ништяк! У-у-яай!!» Захлёбываясь, упоённо выкладывает новости: он принят сторожем на пилораму, смена сегодня в ночь! Сейчас мы поедem в банк за пенсией и расчётными деньгами, потом в кафе, потом...

— Потом видно будет! Эндрю, погнали! У-у-яай!!

Множество вопросов так и просятся с языка, но Санёк отзываться не расположен: голоса «„Ах любовь, ты любовь, — золотая лестница!“ Короче, шизгалес!», размашисто действует руками и даже притопывает ногами в такт. Унимаю умеренные восторги требованием действовать незамедлительно, поскольку скоро заступление на дежурство, усаживаю его в Коломбину, везу в банк.

Пенсия и расчёт составили сумму, едва превысившую сорок две тысячи рублей. Пенсию — восемь тысяч — вручаю Саньку, но расчётные деньги снимать отказываюсь. Он пробует возмущаться: «Эндрю, отдай мои бабки!», но, выслушав разъяснения, что «это НЗ на чёрный день, загашник, понимаешь?», легко примиряется, говоря, что «оно, конечно, да мало ли чо завтра грохнет-лопнет... свой запас карман не оттянет, ага» и прочие на удивление рассудительные слова. Довожу его до кафе «Гурман», оставляю у входа и отправляюсь по вызову в отдалённую деревню, предварительно взяв с него слово вести себя по возможности благоразумно и не опоздать на дежурство на пилораме. Санёк обещает, ведь он «не чокнутый какой-нибудь, а до пилорамы топать хрен да ни хрена, вон её отсюда видать... короче, Эндрю, всё будет путём». Охотно надеюсь, пренебрегая взбодрившимися сомнениями...

Санёк звонит через два дня, просит подъехать к кафе «Антоника», увезти его на работу. Приезжаю, заранее уверив себя в печальном исходе, и не обманываюсь: Санёк, всю дорогу застенчиво помалкивавший, выбравшись из Коломбины,

признаётся, что денег у него нету. «Куда подевались, вообще не знаю, — разводит руками, отчаянно корча оправдательные гримасы, нервно утрамбовывая потрёпанными кроссовками густую глинистую грязь, обильно удобренную опилками, обломками досок и прочим древесным мусором. — Хотел взять пивка, а барменша сказала, что карточка у меня пустая. Ты чо такое городишь-то, ей говорю, есть денежка, как это — нет ничего? Ну, да разве бабе чо-нибудь докажешь... Короче, без пива остался, ага». Санёк бубнит ещё что-то, но меня занимает мысль: как он сумел за два дня опустошить газпромовскую карточку? «Как только ты уехал, я с ребятами встретился, — просвещает Санёк. — Земляки, с Сахалина или откуда-то рядом. Понятное дело, сразу — в банк... Эх, и гульнули!» Он, жмурясь, улыбается, а во мне пробуждается небывалая злость...

— Погуляли?! — срываюсь на крик (*Санёк, недоумённо моргая, отступает к сторожке*). — На тридцать четыре тысячи?! Ты!.. твою!.. — путаюсь в бранных словах, досадуя на себя за неумение соорудить из них нечто доступное уразумению. — Ты хотя бы соображаешь, что без денег остался?!

— Ты чо, Эндрю, совсем меня за дурачка держишь, да? — дребезжит Санёк плаксивым тенорком. — Я хлеба успел купить, тушёнки три, чо ли, банки, ещё пачку чая, сахару целый килограмм... — Осёкшись, проверяет карманы куртки, вздыхает нетяжко: — Нет, ну чо ты будешь со мной делать! Зажигалка есть, а про курево, башка дырявая, совсем позабыл... Дай сигаретку.

О, вот он, миг злобного торжества!..

— Сигаретку?! Не олигарх, траву покуришь... вон её сколько... под заборамиросло! — задыхаясь от внезапно овладевшей мною тяжёлой дурноты, говорю оторопелому Саньку, но своевольная Коломбина тут же рвёт с места, скандально бренча подвескою, выносит меня с территории пилорамы на дорогу. А жаль, очень уж хочется прямо высказать в лицо (да физиономию, чего уж там, а ежели совсем попросту — в морду) этому, чтоб его... всё, что я думаю о таких вот мотыльках, беспечно трепещущих салфеточными крылышками над клокочущим адом жизни... Ничего, пусть, подлец этакий, помельчит единственным зубом ржаные сухари, похлебают не пиво, а колодезную водицу, покурит не «Золотую Яву», а крапиву, польнь и прочую дикорастущую деревенскую флору, ну а я буду хохотать над ним и над такими же, как он... О! как же громогласно и глумливо я буду хохотать!..

Руки сами выворачивают руль — и вот, немало себе удивляясь, еду обратно в сторожку, скрежещу железным голосом ошалело взирающему на меня Саньку: «Придушить тебя, поганца, мало!»; вталкиваю ему в руку пачку сигарет, на слезливое «спасибо, корефанушка, родненький!» отвечаю заледенелым молчанием, но, уходя, уже за порогом, зачем-то обмолвливаюсь, мол, когда обстоятельства ударят в лоб (что ударят — и не сомневаюсь) — звони. Одним словом, совершеннейший анекдот да и только...

Неделю спустя на эту же пилораму привожу гастарбайтеров, пятерых меланхоличных китайцев. Передав их переводчику, пройдошистому пареньку без очевидных признаков какой-либо национальности, одинаково смахивающего на китайца, турка и обитателя планеты Нибиру, подъезжаю к воротам, перегороженным радостно осклабляющимся Саньком. Беспрестанно восклицая «Эндрю, корефан!», он распахивает дверцу, намереваясь вырвать меня из объятий Коломбины. Приготовляюсь сказать решительное «нет», однако весьма скоро, подталкиваемый руками и горячечными возгласами «Эндрю, не обижай!» и «Ты чо, Эндрю, у меня уже чай вскипел!», оказываюсь в сторожке.

Осматриваюсь. Сторожка, уныло-казённая снаружи, внутри глядится вполне жилойю комнатою: у порога — печка-буржуйка, с трёх сторон обложенная кирпичом, фронтально — кровать, застеленная ветхим одеялом, в углу висит антикварный рукомойник, возле него на гвоздике — не заляпанное кухонное полотенце, на оконце ветерок, свободно пронизывающий хлипкую раму, раскачивает ромашки на занавеске, колченогий самодельковый стол застелен вымытой клеёнкою, словом, во всём видна непритязательная, но радетьельная рука.

— Ты это, падай давай на табуретку! — Санёк суетливо выдвигает из-под стола изделие, художественно сколоченное из обрезков горбыля. — Вот чайник, заварка, кружка, сахар, конфеты бери!

Поднимаю крышку маленького заварного чайника: полужиденькой заварки (один мой знакомый, любитель чифирия, сказал бы: «В натуре — моча младенца!») — едва на четверть. Сахар обнаруживается на доньшке литровой стеклянной банки; рядом притаились две карамельки. В углу стола разместилась чугунная сковорода с остатками картошки (изжаренной, судя по запаху, на многократно употреблённом растительном масле), бережно уложенная в целлофановый пакет начатая буханка чёрного хлеба и жестяная посуда, расставленная по определённому хозяином ранжиру. «Этакую опрятную бедность даже аскезой назвать нельзя», — думаю про себя и улыбаюсь.

— Рассказывай, как живётся-можетя.

— Блин, да ты чо, я лучше всех живу! — начинает бахвалиться Санёк, но его прерывает царапанье в дверь и требовательное мяуканье. — Васенька пришёл! Это не ковыктинский, местный, — объясняет Санёк, впуская раскормленного чёрно-белого кота, — он в первую же мою смену притащился, весь грязнуший, до того худуший, что рёбра торчали, будто не из посёлка, а из Бухенвальда прибежал, ага. Зацени — моментом отожрался, любо-дорого глядеть! Сейчас, Васенька, я тебя рыбкой накормлю. — Наложив куски минтая на тарелку, ставит её перед котом, удовлетворёно внимает урчанию, хрусту разгрызаемых косточек, приговаривая: «Наголодовался, бедняга... лопай давай...» Поворачивается ко мне: — А ты чо это чай-то не наливаешь?

Отговорившись нехотением, прошу продолжать.

— Да так-то оно вроде бы и ничо так, вот только китайцы достали, — повествует Санёк уже без прежней бодрости. — Зовут меня «дядя Саса». Так, про чо это я толковал... Ага, вспомнил! Они, узкоглазые эти, тупые, кошмарики просто! Погрузчик поднимает стопу досок, а они под ней стоят, рты разевают... А если стопа на них шмякнется? Кричу им: «Вы, мордозадые, чо тут растопорщились-то?! Ну-ка, чешите, на хрен, по сторонам!» Щурятся на меня: «Дядя Саса, твоя са-всема ли сунь синь дзе дунь...» Может, и не так говорят, но как-то вот так, ага. То ли они дураки, то ли обкуренные — и не врубишься с маху-то... А-а, Эндрю, я понял! Они сранья чаю напьются, шары вытаращат — и на пилораму, и пашут без всяких перекуров до самого до обеда; лапшичку — чо там жрать-то, не пойму! — похлебают, опять — чай, и вкальвают до самых до потёмок. И никакой это не чай, — шепчет, пугливо косясь на дверь, — а наркотик какой-то, я серьёзно тебе говорю! Они его в магазине не покупают, из Китая привозят. Предлагали мне как-то выпить этого хитрого чаю, так я сразу в отказ: хренушки, им говорю, этот самопал сами пейте, я лучше из своей пачки настоящего листового заварю. — Сморщивается, машет рукою: — Да тьфу на них на всех! Я утречком ворота открою, вечером закрою — всего-то и делов... *(Мельком оглядывает своё скром-*

ное жилище, пригорюнивается.) На Ковыкту хочу, — шепчет, глядя перед собою остановившимися, вдруг повлажневшими глазами, — там у меня балок свой и вокруг лес, а не брёвна с досками; белки, бурундуки, не китайцы всякие. Да и Васенька меня уже заждался. (*Протяжно вздохнув, обмирает в позе роденовского «Мыслителя».*) Никто его не накормит, никто тефтелькой не угостит, сам в тайге пропитание мышкует... чего доброго, филину в когти попался... разорвал он моего Васеньку...

Тихо поднимаюсь с табурета, отступаю к двери. Очнувшись, Санёк немедля ухватывает меня за руку, призывает остаться, поговорить, выпить чаю. Заверив его, что при случае непременно загляну на пилораму, а сейчас мне пора ехать, выхожу к заждавшейся Коломбине. «Вот уж действительно — компот с соляркой...» — говорю вслух и направляюсь в супермаркет «Байкал», где беру пачку чёрного байхового чая, конфеты, сахар и мятные пряники. В сторожке Санёк, опасливо держа пакет подале от себя, будто я вручил ему не презент, а неразорвавшийся снаряд, запинаясь, спрашивает: «Эндрю, так это ты чо... ты это мне, чо ли?» Ответствую довольно грубо: «Нет, себе!» — и тороплюсь выйти вон, поскольку отнюдь не желаю прослыть добрым самаритянином, к тому же не терплю чувствительные и прочие сентиментальные минуты.

...Вот и подкралась неожиданная пора сибирской осени... Где-нибудь в Апрелевке ещё прогуливается разморённый позднесентябрьскою жарою белобрючный да сарафанный народ, изнеможенно обмахивается панамками и бойко кушает эскимо, а здесь уже иней серебрит траву и полузамёрзшую дорожную грязь, лужи затворяются корочкою льда, выжистый ветер обрывает с отходящих ко сну деревьев оставшиеся жухлые листовенные флажки и, хохоча, всыпает за ворот первые колкие снежинки...

Санёк сидит на кровати, сторбившись, свесив руки, бездумно глядя на пристроенный в углу веник; в его глазах плещется лазоревая печаль. Оглядывая сторожку, замечаю — когда морозы под пятьдесят ударят, зачоченеешь в этой собачьей будке. Санёк молчит, тихо посапывает застуженным носом. «Оконце заложит, всё-таки теплее будет», — советую ему и обещаюсь привезти подходящий по размеру кусок пенопласта и баллон монтажной пены. Санёк хранит непоколебимое молчание, похоже, сберегает слова, словно солдат махорку. Поеду, утомился твою болтовню выслушивать, сообщаю, вставая с табурета, но Санёк оставляет моё решительное намерение без внимания. Переведя взгляд на приляпанный к стене сторожки плакат, в советское время непристойный, в сегодняшнее — зауряднейший, тихо выдыхает: «На Ковыкту хочу...» Нешумно отступаю к двери. «Там у меня балок свой, камин, и Васенька, поди, совсем уже меня заждался...» Выхожу на крылечко, закуриваю сигарету. «Никто его не накормит, даже сухариком не угостит... разбегутся угощать, ага, куда уж там...» — пробубнивается через щелястую дверь.

Притопывая утеплёнными китайскими калошами на крохотном пяточке между столом, печкой и кроватью, победоносно блистая глазами, несколько нелепо, но воодушевлённо взмахивая руками, Санёк напевает: «На Ковыкту! на Ковыкту! У-у-яй!!» Заметив меня, останавливается, вскрикивает «Асса!» и пулемётно отбивает чечётку. Рукоплещу артисту, испрашиваю причину радости. «Еду, еду, еду на Ковыкту, ля-ля-ля!» — распевает Санёк, отплясывая невообразимое попури из гопака с лезгинкою. Пробудившийся во мне журналист требует детального рассказа. «Да чо тут рассказывать-то? — отмахивается Санёк. — Работать еду! Прямо

завтра с утра! У-у-яй!! Берут меня, с руками и ногами берут, понимаешь? Ведь я — ты чо, Эндрю, забыл, чо ли?! — и сторож, и сварщик, и повар, и плотник! На Ковыкту! Завтра! Ты чо, да это ж, блин, конфеты с маслом! Эх, да чо там говорить! У-у-яй!!» Топнув ногою, лихо вскидывает голову, пускается вполуприсядку, го-лося: «На Ковыкту, на Ковыкту, ля-ля-ля, тра-ля-ля!» Пытаюсь выведать, по белой или серой схеме предлагают ему работу, но Санёк меня не слышит, мысленно и едва ли не телесно он уже на Ковыкте, где его поджидает «балок с камином (включишь его — и сразу — япона ж твою мать! — теплотница-то какая!) и Васенька; обязательно надо ему минтая привезти, ну и себе продуктишков прикупить, ведь пожарть там ни хрена нету...»

Весною еду на вызов, посматриваю на первые тонкие ростки травы, уже начавшие пробиваться из едва оттаявшей сверху земли удивительные нежной зеленью, кажущейся ненатуральной, чуть ли не бутафорской, бок о бок с тяжёлым грязно-серым снегом, прочно залёгшим в низменных и затенённых участках. Кажется, уже вдосталь насмотрелся на такие диковинки, пора их уже попросту не замечать, но почему-то, сколько себя помню, столько и поражаюсь неуёмной тяге к жизни, неискоренимо заложенной в природе, человеку и во всём, что ни есть сейчас и долго будет ещё на Земле...

Внезапно праздность мыслей пресекает мужик, недалеко впереди меня шагающий по обочине дороги. Коренастый, коротконогий, походка у него приметная, вперевалочку... Так это же Санёк, и никто другой! Ага, попался, бродяга!

Поравнявшись, всматриваюсь — и вижу неведомую физиономию с косо про-резанным злым ртом и жёсткими, цепкими глазами.

Попервоначалу спрашивал барменш в кафешках, не заходил ли Санёк. Отвечали: «Чо-то давненько не заглядывал» или: «С прошлой осени не видели». Спрашивал бомбил. Нет, никто из них Санька не видел и не возил. Это странно... Да на Ковыкту ли он уехал?

Сейчас снова зима, а Санька нет как нет.

А вдруг да увижу его где-нибудь? Нагоню, крикну: «Привет, Санёк!», услышу в ответ: «Эндрю, корефан! У-у-яй!!»

Быть может, вот сейчас и увижу...